

АТЛАНТ

Нордхорн...мис

4952 325.8 dupl. fizl 2 f0.069

K-7 II 54 201 122 10 5001

De la municipalidad de

72 22000

OFFICE OF THE
Treasurer

1999

$A \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$



Юрий Петренко

Атлант

«Автор»

2026

Петренко Ю. А.

Атлант / Ю. А. Петренко — «Автор», 2026

Что сильнее: тоталитарная машина или чистый гений? Историческая повесть «Атлант» рассказывает подлинную, полную драматизма историю авиаконструктора Владимира Мясищева. Человека, который наперекор лагерям ГУЛАГа, чиновничьему скепсису и заговорам зарубежных разведок создавал самолеты, опередившие время. Ради неба он пожертвовал всем, но в роковом 1993 году его главное детище — уникальный прототип из прозрачных композитов — было похищено. Самолет уничтожен, чертежи украдены, а страна разрушена. Но истинную науку невозможно украсть. Ученикам титана авиации предстоит принять последний бой и запустить «Буран» в космос на невидимых крыльях «Атланта». Читайте масштабную драму о цене прогресса и бессмертии человеческой мысли!

© Петренко Ю. А., 2026

© Автор, 2026

Юрий Петренко

Атлант

АТЛАНТ

КИНОПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ I. МУЗЫКА ВЕТРА

СЦЕНА 1

Коктебель, сентябрь 1927 года. Гора Клементьева (Узун-Сырт)

Свист в лонжеронах

Воздушный напор над Узун-Сыртом не просто перемещал массы — плотный, ламинарный поток упруго заклинило в ущелье, словно натянутый брезент. В атмосфере стоял жесткий концентрат сухой полыни, прокаленного кремния и овечьего помета.

Двадцатипятилетний выдвиженец МВТУ Володя Мясищев поправил пропитанный касторкой брезентовый шлем. Из-под стекол триплексных очков-консервов, забитых серой крымской пылью, его взгляд жестко фиксировал кромку откоса. Руки в огрубевших крагах лежали на секторе управления деревянного планера «Макака». Агрегат из сосновых стрингеров, авиационного перкаля и казеинового клея имел ничтожный сухой вес, но сейчас, зажатый на стартовой позиции пятеркой взмыленных комсомольцев, вибрировал всем калибром, как пойманная перепелка.

Мясищев ладонью в грубой перчатке осторожно погладил обтекатель фюзеляжа, чувствуя под пальцами податливое, живое тепло натянутой ткани. «Макака» не была для него бездушной сборкой по ведомости материалов. Каждая нервюра этого аппарата, выстроганная вручную долгими ночами, повторяла изгиб его собственной мысли. Он знал каждый ее узел, каждый стык лонжеронов, словно анатому знакомы сплетения сухожилий. Между ним и этим легким деревянным телом существовал заговор: он дал планеру форму, а планер должен был дать ему небо.

— Закрепи левый расчалочный трос, Сережа! — прокричал Мясищев, перекрывая гул всасывания. — Атмосферная влажность даст деформацию казеина, на правой плоскости поплывет угол атаки, потеряем несущую силу!

— Без паники, Володька! — гаркнул снизу задорный, скуластый парень в матросской тельняшке и разбитых сапогах — молодой техник Олег Антонов. — Наш комсомольский конвейер НКПС не такие нагрузки амортизировал! Катапультируйся, пока термический поток выдает максимальный подъем!

Справа, мертвой хваткой вцепившись в бобышку крыла, тяжело хрипел приземистый, плотный москвич в косоворотке с закатанными рукавами — Сергей Королев. Контур его лица был собран в одну волевую точку.

— Поток чистый, Мясищев. Фронт ровный, завихрения и роторы отсутствуют, — глухо, с командирским нажимом выдал он. — Давай команду на разгон амортизатора. Ежели твой фюзеляж сейчас не выдаст расчетную аэродинамику, я немедленно выкатываю на стартовую линейку свой «Коктебель».

Речевой монтаж у троих строился на разных скоростях: Антонов сыпал легкими, волжскими присказками, Королев рубил фразы, как зубилом по стали, обрезая союзы, а сам Володя чеканил слова подчеркнуто академически, по-баумански, выдавая строгую инженерную номенклатуру.

— Внимание... Натяжение! Старт! — скомандовал Мясищев.

Парни со звучным «Ух!» рванули резиновый катапультный канат. «Макака» пулей сорвалась с обрыва. Вектор земли под посадочной лыжей планера мгновенно провалился в отрицательную координату. Вместо тверди в лобовое стекло ударил встречный скоростной напор. Летопись его конструкторской биографии началась со звука — тонкого, металлического свиста воздуха в стальных струнах расчалок. Механическая тяга отсутствовала. Работал чистый расчет плоскости, выведенный Мясищевым до тридцатого знака после запятой на обороте упаковочного мешка в Лефортовском общежитии.

Аппарат шел по идеальной траектории глиссирования, парируя воздушные ямы ходом элеронов. Планер слушался малейшего движения его пальцев, отзываясь на натяжение тросов мгновенно, чутко, словно преданное дрессированное животное. Мясищев не управлял машиной — он слился с ней. Деревянные крылья стали продолжением его собственных лопаток, а поющий ветер — общим дыханием. Сверху Коктебелевская бухта смотрелась синим серпом, врезанным в сухую степь. Мясищев заложил крутой левый вираж, ощущая спиной через фанерный шпангоут сиденья малейшие колебания аэродинамических струй. В эту секунду он зафиксировал главный закон: планер — это не мертвый прокат железа и не просто фанерный короб. Это материальное, дышащее продолжение нервной системы конструктора, его первая, чистая и абсолютная любовь.

СЦЕНА 2

Коктебель, сентябрь 1927 года. Дом Волошина Коктебель, сентябрь 1927 года Салон уцелевших призраков

В просторной, полутемной мастерской Максимилиана Волошина пахнет раскаленным керосином от ламп-молний, горьким настоем степной полыни, терпким домашним вином из карадагских подвалов и свежей олифой — хозяин дома лишь к самым сумеркам отложил кисть, закончив очередной акварельный набросок Киммерии

Сам Максимилиан Александрович, являвший собою величественную фигуру обветренного Зевса или языческого морского божества, восседает в огромном кресле из ивовых прутьев. На нем неизменная полотняная, подпоясанная вервием хламида и ременные сандалии на босу ногу. Его окладная, седая с проседью борода покоится на груди, а взор из-под кустистых, сросшихся на переносице бровей устремлен в дальний угол залы.

Там, у старого, разошедшегося от морской соли рояля Беккера, стоит ЛЁЛЯ — Елена Александровна Спендиарова.

Комнату затопляет изысканная, пряная музыка. Тягучие мотивы кавказских предгорий, душевные, как полуденный зной, вплетаются в глухой ропот прибоя. Внезапно рояль отзывается болезненным дребезжанием в басах — безжалостный морской воздух безвременно коробил деку инструмента. Елена обрывает пассаж на полуслове и резко разворачивается на сиденье, обращая свое бледное лицо к Мясищеву.

ЕЛЕНА

Вы слышите это, Владимир Михайлович? Даже старый, верный Беккер бунтует против здешней сырости. Он фальшивит, бедный. Земное притяжение и тлен искажают чистый звук. А вы... вы чертите свои аэропланы, заменяя живое дыхание музыки сухими цифрами! Неужели ваша строгая, математическая муза способна лишь расчленять гармонию на радиусы и хорды (pp. 1-2)? Возможно ли вообще уберечь красоту от увядания в вашем грядущем, бездушном веке машин?

Прежде чем Мясищев успевает разомкнуть губы, из своего плетеного трона тяжело, с монументальной неспешностью поднимается Волошин. Его исполинский силуэт заслоняет

полумрак мастерской (р. 1). Он делает шаг к роялю, и его глубокий, бархатный баритон звучит, точно эхо подземных пещер Кара-Дага .

ВОЛОШИН

Не взыщите с инструмента, дорогая Лёля. Фальшь — сие есть неизбежная дань нашему земному юдолу . Но обратите взор на Владимира . Вы напрасно мните его сухим механиком, безжалостно распинаящим стих на чертежной доске . Он — геометр и архитектор духа ! Он - Гермес Трисмегист! Вы улавливаете божественную гармонию в колебаниях эфира, а он стремится запечатлеть её в хордах и нервюрах своих воздушных кораблей .

Волошин опускает свою огромную, покрытую мозолями от садовой лопаты ладонь на плечо молодого студента и обводит присутствующих взглядом философа-мистика

ВОЛОШИН

Вы все, господа, изволите сетовать на уродство наступающего века машин, на грубое, святотатственное торжество поршня над поэзией (р. 2)! Слепцы! Вы не зрите сокровенного (р. 2). Земля — сие есть огромный, остывающий камень, скованный железными узами тяготения. Мы все — узники этой темницы (р. 2). Поэты тщатся пробить её своды пламенным словом, музыканты — мимолетным звуком (р. 2). Но слово увядает в словарях, а звук умирает, едва сорвавшись со струны (р. 2). Ваша поэзия ищет свободу, но находит лишь её мимолетную тень (р. 2)!

Волошин подходит к окну, за которым шумит невидимое море, всматриваясь в глухую киммерийскую тьму (р. 2).

ВОЛОШИН

А Володя... Володя возводит мост из чистой, бесстрастной математики (р. 2). Его чертежи — суть те же элегии, только начертанные радиусами кривизны (р. 2). Поймите: истинное искусство рождается там, где дух преодолевает сопротивление косной, мертвой материи (р. 2)! Летательный аппарат есть высшая, самая утонченная форма метафизики, ибо он понуждает бездушный металл подчиняться законам невидимого эфира (р. 2). Самолёт — сие есть живая молитва человека, записанная в формулах подъемной силы (р. 2)! Век машин грешит уродством фабричных труб и копотью лишь потому, что люди заставили железо пресмыкаться по земле (р. 2). Но Володя заставит его парить (р. 2).

Мясищев упрямо вскидывает голову, встречая взволнованный, испытующий взор Елены (р. 3). Его голос звучит твердо, как сталь, разрезающая поэтический пафос салона (р. 3).

МЯСИЩЕВ

-Вы говорите об увядании, Лёля, но ваша музыка угасает в ту же секунду, как затихает струна (р. 2). Поэзия Серебряного века — это лишь прекрасный плач у постели умирающего (р. 2). Она бессильна перед законами природы. А мой расчет не обманет (р. 3)! Небо не знает сословий, чинов и метафор, оно отвергает ложь циркуляров и туманных рифм (р. 3). Воздух принимает лишь абсолютную правду (р. 3) — правду аэродинамики. Бездушный металл, говорите вы? Но когда сталь подчинится точной цифре, она обретет вечную свободу, которой никогда не было у вашего зыбкого слова (р. 2).

В мастерской воцаряется глубокая, звенящая тишина (р. 3). Поэты забыли о своих рифмах, а курсистка в тюрбане замерла, так и не донеся папиросу до губ (р. 3).

Елена медленно поднимается со своего места, шелковая шаль небрежно соскальзывает с её плеч (р. 3). В её глазах — бездонных, темных, исполненных предчувствия грядущих апокалиптических бурь — отражается трепетное пламя керосиновой лампы (р. 3).

ЕЛЕНА

(делая несмелый шаг навстречу Владимиру, тихо, точно эхо)

Мост между дольным миром и горней высью... (р. 3) Но какой ценой, Володя? Вы хотите заменить Бога формулой подъемной силы (р. 2)? Это пленительная и вместе с тем страшная ноша (р. 3). Достанет ли у вас сил явить собою этого нового Атланта, не раздавив человеческую душу шестеренками ваших машин (р. 3)? Ведь ежели вы погрешите против истины хотя бы в одном знаке после запятой — все небо рухнет на ваши плечи, и погребет под собой всю вашу математическую свободу (р. 3)!

МЯСИЩЕВ

(в его голосе звучит интонация человека, уже присягнувшего вечности)

Пусть рухнет, если расчет неверен (р. 3). Но если линии будут чисты — машина станет высшим аккордом, который человек когда-либо посылал Вселенной (р. 2). И ежели вы согласитесь стать моей музой, ежели поможете мне постичь тайны, сокрытые в чужестранных манускриптах — мы сотворим крылья, которые не сломаются вовек (р. 3).

Волошин удовлетворенно и гулко хмыкает, потянувшись к глиняному кувшину с кахетинским (р. 3).

ВОЛОШИН

Ну вот и славно (р. 3). Поэзия заключила священный брак с сопротивлением материалов (р. 3). Наполняйте бокалы, господа присяжные заседатели нашего уходящего мира (р. 3)! Будем пить за то, чтобы линии нашего грядущего были столь же безупречны и чисты, как здешний коктебельский ветер (р. 3).

СЦЕНА 3

Коктебельский берег. Луна и дюймы будущего

Позже, когда керосинки в доме Волошина погасли, они гуляли вдвоем по галечному берегу. Море лениво и тяжело катило к ногам мелкую гальку, шурша, как сухой перкаль. Луна заливала залив мертвенным, фосфорическим светом. Из прибрежных кошар доносился далекий лай собак и глухой стук колокольчиков.

Елена шла рядом, зябко кутаясь в поношенную шерстяную шаль с кистями — осколок прежней, довоенной роскоши. Приморский ветер трепал ее темные кудри. На ногах у нее были парусиновые тапочки на веревочной подошве, и она смешно спотыкалась о крупные камни. Мясищев бережно поддерживал ее за локоть.

— Вы странный, Володя, — тихо сказала она, глядя на пенный прибой. — Все ваши друзья-авиаторы... Антонов, Королев... они говорят о мировой революции в небе, о штурме стратосферы, о красных пролетариях на Марсе. Они кричат. А вы молчите. Но когда вы смотрите на свои чертежи, мне кажется, что вы видите то, чего нет вообще ни в одной книге. Что вы там ищете?

Мясищев остановился. Он нагнулся, поднял с земли плоский, обточенный морем кремнистый камушек — «куриного бога» — и протянул ей на ладони.

— Я ищу предел, Лёля. Посмотрите на этот камень. Вода обтачивала его тысячи лет, пока не сделала его форму идеальной. У него нет лишнего сопротивления. Он чист. Человечество строит самолеты, похожие на этажерки — с заклепками, гофром, расчалками. Мы берем мощные моторы и силой продираемся сквозь воздух, калеча его. Это варварство.

Он посмотрел на нее — бледную, хрупкую, стоявшую на фоне огромного, темного Крыма. В этот миг в нем соединились расчет и безумная, пророческая нежность.

— Я построю самолет, который будет гладким, как этот камень. Его крыло будет дышать вместе с ветром. Это будет не просто машина, Лёля. Это будет новая технологическая культура. В ней не будет дюймов и футов — там будет абсолютная точность.

Елена Александровна взяла камушек из его руки. Ее пальцы на секунду коснулись его ладони — они были холодными от морского ветра, но внутри Мясищева словно замкнулся электрический контур.

— Гладкий металл... — прошептала она, вглядываясь в его лицо. — Вы ведь понимаете, Володя, что наш мир не любит тех, кто видит слишком далеко? Вас назовут фантастом. Или хуже того — чужаком. Система не любит идеальных линий, ей нужны послушные квадраты.

Мясищев обернулся к морю, его подбородок упрямо заострился, отражая лунный свет. Рождалась та самая «Плоская арка» его характера, которая не согнется ни перед Туполевым, ни перед НКВД.

— Пусть называют как хотят. Воздух — не чекист и не партийный чиновник, Лёля. Его нельзя обмануть циркуляром. Он принимает только правду. И если мои расчеты верны — весь мир со временем полетит по моим линиям. А вы... вы поможете мне? Мне нужен будет человек, который умеет читать чужие мысли на других языках. В Америке, во Франции сейчас рождается эта новая сталь. Мне нужно будет понять её.

Елена Александровна молча смотрела на него несколько секунд. Потом она тихо, по-старорежимному вздохнула, крепче перехватила шаль и сделала шаг вперед, прижимаясь к его плечу.

— Я буду переводить для вас, Володя. Все языки мира, если нужно. Лишь бы ваши крылья не ломались. Пойдемте назад. Максимилиан Александрович обещал достать из погреба бутылку старого кахетинского. Поэты собираются читать стихи Гумилева... шепотом, конечно.

Они пошли обратно к светящимся окнам волошинского дома.

ЧАСТЬ II. БУНТ ПРОТИВ ГОФРА

СЦЕНА 1

Москва, ЦАГИ, октябрь 1933 года. Чертежный зал ЦАГИ

Ученик и учитель

Гулкий, высокий зал ЦАГИ залит холодным электрическим светом. За огромными окнами — серое, мокрое московское небо, косой дождь. Пахнет аммиачной бумагой, махоркой и олифой.

У главного кульмана, где на ватмане разложен чертёж центроплана АНТ-20, стоит **Андрей Николаевич Туполев**. На нём неизменный серый пиджак, в руке — карандаш «Кохинор», наполовину сточенный. Вокруг — десятки инженеров замерли, боясь дышать.

Напротив Туполева — **Владимир Мясищев**, молодой, прямой, бледный, но с тем упрямым, спокойным взглядом, который уже знают в ЦАГИ.

Туполев долго молчит, глядя на чертёж, потом на Мясищева. Его лицо — не злое, а скорее усталое, с глубокими морщинами.

Туполев (тихо, почти доверительно):

— Володя, ты знаешь, как я отношусь к тебе. Ты — мой лучший ученик. Я тебя вытащил из института, поставил на крыло. Но ты сейчас предлагаешь мне перевернуть всё, что мы с тобой строили последние десять лет.

Он проводит ладонью по чертежу, гладит контуры, словно живую плоть.

Туполев (продолжает):

— Гладкая обшивка. Потайная клепка. Аэродинамический профиль до сотых долей. Это красиво, Володя. Это как стихи. Но мы — не поэты. У нас заводы. Там люди в промасленных ватниках собирают самолёты топорами. Ты видел, как они клепают? Пока бригадир отвернётся — заклёпку молотком дожимают, лишь бы в размер встала. Гофр прощает это. Он скрывает кривизну рук. А твой гладкий лист не простит. Если на нервюре будет люфт в полмиллиметра — обшивка начнёт вибрировать и оторвётся на первой же тысяче метров.

Он замолкает, смотрит на Мясищева испытующе.

Мясищев (тихо, но твёрдо):

— Андрей Николаевич, вы правы: мы не можем сегодня собрать гладкое крыло на старых стапелях. Я не прошу вас менять «Максим Горького» сейчас. Я прошу вас разрешить мне подготовить базу. Сделать макет, провести стендовые испытания, обучить технологов. Через год-два мы сможем перейти. Не надо ждать, пока американцы или немцы нас обгонят. Гофр — это вчерашний день, вы сами это знаете.

В зале наступает напряжённая тишина. Кто-то кашляет. Туполев смотрит на Мясищева долго, пристально, затем поворачивается к окну. Сквозь стекло виден дождь.

Туполев (не оборачиваясь, глухо):

— Володя, я знаю, что ты прав. Я сам в двадцатых годах выступал за гладкий металл. Но тогда мы смогли его освоить только на маленьких машинах. А теперь — гигант, сорок тонн. Если мы поторопимся — разобьёмся. И нас расстреляют. Не за ошибку, за «вредительство». Ты понимаешь это?

Он оборачивается, подходит вплотную к Мясищеву, говорит тихо, почти на ухо:

— Я дам тебе отдельный макетный цех. С твоими ребятами. Ты будешь делать гладкое крыло для будущих машин. Но на «Максима Горького» — пока гофр. Подпиши мне акт о том, что ты согласен. Я сохраню тебя, сохраню идею. А когда Сталин и наркомат увидят результаты твоих испытаний — мы их убедим. Но не сейчас.

Мясищев смотрит в глаза Туполеву. В них нет злобы — только боль и мудрость. Он медленно кивает.

Мясищев:

— Я подпишу, Андрей Николаевич. Но вы обещаете мне: как только данные будут готовы, вы не будете тормозить внедрение.

Туполев (криво усмехается):

— Обещаю, Володя. Если твой гладкий профиль даст прибавку в скорости хотя бы на десять процентов — я сам пойду к Сталину и буду требовать перестройки конвейеров. Но сначала — докажи. На макете, на стенде, в воздухе. А пока — терпи.

Он протягивает руку. Мясищев пожимает её. Вокруг молчаливые инженеры выдыхают.

Туполев (уже громко, на весь зал):

— Все по местам! Крыло «Максима Горького» — в гофр. Мясищев, после совещания зайти ко мне, дам тебе приказ об организации макетной группы.

Он направляется к выходу, но на мгновение задерживается у двери, оглядывается на Мясищева. В его взгляде — смесь тревоги, уважения и надежды.

Мясищев медленно сложил руки за спиной. В его осанке не было покорности.

— Мы построим этот самолет из гофра, Андрей Николаевич. Потому что есть приказ. Но это будет последний памятник старой эпохи. Следующую машину я сделаю гладкой, как речная галька. И тогда посмотрим, чья правда.

СЦЕНА 2

Квартира Мясищевых. Пересечение двух миров

Вечером того же дня в маленькой трехкомнатной квартире Мясищевых на Новой Басманной царил совершенно иной мир — мир, куда дореволюционная Москва упрятала свои лучшие уцелевшие сокровища. Здесь пахло воском, крепко заваренным чаем с сухими корочками цитрусов и дорогими духами «Коти», присланными когда-то Елене Александровне родственниками из Парижа.

В гостиной, у того самого разошедшегося беккеровского рояля, который они с трудом перевезли из Коктебеля, горели свечи в старинных бронзовых канделябрах. За столом сидели давние друзья семьи Спендиаровых — осколки Серебряного века: пожилой искусствовед в потертом бархатном смокинге, молодой, но уже знаменитый поэт с измученным лицом и женщина-скульптор с сильными, испачканными глиной пальцами.

Лёля — Елена Александровна — сидела у инструмента. На ней было домашнее платье из темно-синего бархата с кружевным воротничком, подчеркивающим бледность ее шеи. Ее пальцы мягко, едва слышно перебирали клавиши, извлекая из рояля задумчивые, щемящие ноктюрны Скрябина.

Мясищев вошел в комнату неслышно, когда поэт читал свои новые, полные скрытой тревоги стихи:

«...И век катился, как железный обруч, по хрупким ребрам наших тонких дней...»

Гости негромко зааплодировали. Поэт благодарно склонил голову. Искусствовед, заметив Владимира Михайловича, поднял бокал с бледным чаем:

— А вот и наш дорогой хозяин, наш покоритель небесного эфира! Владимир Михайлович, оставьте ваш суровый ЦАГИ, присаживайтесь к нам. Мы тут как раз спорим о новой эстетике. Скажите, неужели грядущий век машин полностью уничтожит пластику, убьет текучую линию модерна?

Мясищев прошел к угловому секретеру, сел и достал из кармана толстовки толстую нотную тетрадь с неоконченными набросками теста. На ее полях уже были нанесены какие-то цифры. Он взял остро заточенный карандаш.

— Машина не уничтожит линию, дорогой Александр Васильевич, — тихо ответил Мясищев, не поднимая глаз от бумаги. — Она возведет её в абсолют. Новая эстетика будет жестокой: всё лишнее, всё декоративное будет безжалостно отсечено самим воздухом.

Лёля перестала играть. Она поднялась со своего места, шаль с длинными кистями плавно скользнула по ее рукам. С мягкой, почти кошачьей грацией артистки уходящего века она подошла к мужу и положила тонкую ладонь на его плечо. Она знала этот его взгляд — устремленный сквозь стены, сквозь мокрый московский октябрь, туда, где существовало только его идеальное небо.

— Володя опять воюет со своим патриархом, — с нежной, едва уловимой иронией произнесла она, обращаясь к гостям. Её голос звучал как чистый аккорд. — Весь вечер Андрей Николаевич доказывал ему, что советский человек должен летать исключительно на стиральных досках. Так ведь вы называете этот ваш гофр, Володенька?

В гостиной негромко рассмеялись. Мясищев поднял голову и посмотрел на жену. В его глазах отразилось пламя свечей.

— Да, Лёля. Стиральная доска. Но посмотри сюда...

Он повернул к ней нотную тетрадь. Прямо поверх нотных станов, перечеркивая черные значки несыгранной музыки, быстрым, безупречным росчерком карандаша был нанесен силуэт нового самолета. Это был будущий АНТ-41. У него не было ни одной прямой линии. Фюзеле-

ляж напоминал каплю ртути, крылья стремительно уходили назад, а обшивка была обозначена тончайшей, идеальной одинарной линией.

— Какая... пугающая чистота, — прошептала женщина-скульптор, наклонившись над столом. Ее профессиональный взгляд мгновенно уловил гармонию объема. — Здесь нет ни единого шва, Владимир. Это не машина, это скульптура из жидкого серебра.

— Это первый в мире безупречно гладкий торпедоносец, — негромко, словно боясь испугнуть видение, произнес Мясищев. Он перевел взгляд на Елену Александровну. — Потайная клепка, Лёля. Мы утопим каждую заклепку впотай, сравняем её с металлом. Мы отполируем крыло до зеркального блеска. Туполев говорит, что заводы не справятся, что наши рабочие умеют ходить только за плугом. Но я заставлю их работать с точностью до микрона.

Елена Александровна нежно провела пальцами по его волосам. В ее глазах Серебряного века, привыкших видеть красоту в увядании и трагедии, вдруг вспыхнула гордая, слепящая вера в этого человека. Она понимала: среди этого хаоса, пайков, обысков и строящегося вокруг нового, железного мира, ее муж творил чистое искусство — чище, чем стихи Гумилева или музыка ее отца.

— Они справятся, Володя, — тихо, но с поразительной силой сказала она, глядя на нарисованное крыло. — Потому что эта красота слишком очевидна, чтобы ее не заметить. Если воздух требует гладкости — металл подчинится. Играйте, господа, пейте чай. Мой Атлант сегодня снова нашел свою точку опоры.

Она вернулась к роялю. И под звуки новой, тревожной мелодии Скрябина, Мясищев продолжал чертить на полях нотных тетрадей контуры того самого гладкого будущего, за которое ему вскоре придется заплатить свободой.

СЦЕНА 4. ИНТЕРЬЕР. МОСКВА. ДУБОВАЯ ГОСТИНАЯ ЦДЛ. МАЙ 1935 ГОДА — ВЕЧЕР.

СТЕРЛЯДЬ НА ВУЛКАНЕ

Май 1935 года. Дубовая гостиная Центрального дома литераторов гудела, как хорошо налаженный паровой котёл. Здесь, под высокими лепными потолками, текло иное время — не то, что за стенами, где очередная карточная норма на масло и крупу решала, будет ли у семьи сегодня ужин. Здесь, среди хрустальных ваз и серебряных приборов, время измерялось порциями белужьей икры, запечённой стерлядью и количеством «за здоровье», провозглашённых за тяжёлым дубовым столом.

Официанты в свежих, как первый снег, фартуках скользили между столиками с ловкостью перепуганных селёдок — их задача состояла в том, чтобы ни один бокал не остался сухим, ни одна тарелка — нетронутой. Гул голосов перемешивался со звоном рюмок и сизым дымом «Герцеговины Флор», создавая тот особый коктейль, который и отличал элиту от бесправной московской толпы за дверью.

За угловым столом у высокого окна, где ночной город ещё не зажёл своих редких огней, собралась компания, по виду — героическая, по сути — обречённая. Владимир Мясищев, тридцати двух лет от роду, в безупречном смокинге, который сидел на нём как обшивка стратосферного корабля, держал перед собой стакан чая — единственную постную ноту в этом изобилии. Его чай в серебряном подстаканнике казался неуместным среди водочных графинов; но Мясищев предпочитал ясность головы — особенно когда вокруг кипело такое варево интриг. Рядом, в платье цвета воронёной стали, сидела его жена Ляля — тридцатилетняя женщина с коктебельскими перстнями на тонких пальцах, она улыбалась краешком губ, зная, что её красота — та же стратегическая высота, за которую идет негласная война.

Напротив них расположились писатели: Исаак Бабель, сорокалетний насмешник с вечно протираемыми очками, и Михаил Кольцов, шестидесяти шести лет от роду (на самом деле — тридцать шесть, но годы ложились на него как тяжёлые гири). Рядом с ними, словно три

бомбардировщика на стоянке, сидели авиаконструкторы: Владимир Петляков, Роберт Бартини и чуть поодаль – Сергей Королёв, ещё не главный, ещё только подающий надежды.

Бабель аккуратно взял серебряную ложку и поддел порцию салата «Сельдь под шубой» – пурпурную, в майонезе, словно прикрытую партийным знаменем. Он смаковал её с такой же тщательностью, с какой выстраивал свои фразы.

– Исаак, – Кольцов наклонился к нему с заговорщицким видом, понизив голос до шёпота пережаренного шницеля, – ты заходишь на опасную территорию. Вся Москва судачит – ты что, в Харитоньевский переулок повадился, к Евгении Соломоновне? Ты же у самого Ежова под носом ходишь, как кот у сметаны. Наш маленький нарком – вон, сидит у камина в углу – ревнив как сто дьяволов. Он за каждым шагом своей жены следит. Думаешь, твои одесские анекдоты – это броня от его ордеров?

Бабель вздохнул, снял очки и принялся протирать стёкла салфеткой, словно смахивая с них жир чужой зависти.

– Миша, мне как писателю нужен этот воздух... даже если он пахнет Лубянкой и жжёной селёдкой. Евгения Соломоновна – женщина утончённая, как мусс из рябчика. А её Колюня... Ну что Колюня? Карлик с комплексом, пахнувший водкой и чужими допросами – хуже, чем прокисший компот. Конечно, он смотрит на меня из своего угла, как коршун на огрызок.

Мясищев медленно помешивал ложечкой чай, слушая этот разговор. Он перевёл ледяной взгляд на Бабеля – взгляд, которым обычно оценивал прочность металла на разрыв.

– Исаак Эммануилович, – сказал он ровно, без тени эмоций, – вы совершаете ту же ошибку, что и маршал Тухачевский. Вы полагаете, что ваша слава и талант – это броня. Но для той серости, что заполняет сейчас кабинеты, ваш европейский ум – как лимонный сок на открытую рану. Они не станут спорить с вашей прозой. Они просто изымут её из обращения – как просроченную икру, которую нельзя подавать к столу. Конструкция, в которой слишком много скрытого напряжения и опасных связей, неизбежно разрушается от усталости металла. *Contra vim mortis non est medicamen in hortis* – против силы смерти нет лекарства в садах, кроме безупречного расчёта. Или, говоря по-кухонному, без точной дозировки соли даже лучший борщ превращается в помой. Берегите себя, Исаак.

Бабель хотел что-то ответить, но в этот момент дверь гостиной распахнулась – и наступила та внезапная тишина, какая бывает перед подачей главного блюда. В зал, размашистым и уверенным шагом, вошёл Алексей Толстой. «Красный граф», фаворит Сталина, человек, чей вес в литературе измерялся не страницами, а тоннами напечатанного слова. Он был грузен, холён, одет в заграничный твид, а на жилете поблескивала золотая цепочка часов – тяжелее, чем гиря для пресса.

Толстой, не глядя по сторонам, направился прямо к их столу – точно аромат жареного поросёнка, который невозможно не заметить.

– Михаил! Исаак! И вы здесь, господа стратосферные мудрецы! – его голос звучал густо, с барским раскатистым «оканьем», от которого пахло старым русским хлебом и дорогим коньяком. – Елена Александровна, ваше сиятельство, вы сегодня затмеваете весь этот бомонд, как свежий укроп на праздничном столе! Официант, любезный! Неси стул для графа! Будем ломать хлеб с соиздателями стальных крыльев!

Он плюхнулся на предложенный стул, мгновенно налил себе водки и выдохнул:

– Изнемогаю, господа! Вчера Хозяин вызывал в Кремль – три часа читал мою рукопись «Петра Первого», держал в руках, сам правил. Сказал: «Великие дела без железной воли не делаются. Народу нужен царь-плотник». Вот и вы, авиаторы... Вы ведь тоже петровской породы – как копчёные осетры на закуску, – он хохотнул, обводя их взглядом. – Мне Сталин прямо сказал: «Передай Мясищеву – пусть строит свои высотные бочки. Стране нужны стратосферные корабли. Если Туполев будет мешать – мы его поправим, как недоваренный бульон».

Петляков глухо, косясь на папку, которую держал под рукой, отозвался:

– Алексей Николаевич, Хозяин-то одобряет, да заводы наши – как старая кастрюля с отбитым дном. В Казани бензосистему Пе-2 хотят пустить прямо по раскалённым коллекторам двигателей – ради вала, ради цифири в рапорте. Машина сгорит в воздухе, как пережаренные котлеты, – он кивнул на Мясничева, – Володя подтвердит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.